

От водки я отказался, предпочитая вместе с Машей пить понемногу вино, которое действительно оказалось приличным. Видимо, из старых советских запасов. А Миха уже за первые полчаса ополовинил бутылку водки и лишь слегка посоловел. За эти полчаса он рассказал, как выручил его мой нож, когда ему пришлось отбиваться в одиночку от нескольких человек. «Фраеров», так он сказал. О своем пребывании на зоне он рассказал совсем немного.

— Щас работу будешь искать? — опрометчиво спросил я.

— Ага, — ухмыльнулся Миха, — сторожем, социалистическое имущество от разграбления охранять.

Я не уловил иронии в его голосе и потому продолжил:

— У меня был момент — я работал сторожем. Казалось бы, отсидишь смену — и потом свободен двое суток. Но все не так: все равно один день отсыпаясь, а за второй ничего толком не успеваешь сделать, а вечером опять на смену. Да и зарплата — кот наплакал. В общем, не советую... Так, если пересидеть.

— Я уже пересидел, — хохотнул Миха. — Какая работа, Серый, какая работа?! — веселился он. — Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила. Сейчас деньги сами в руки идут. На дороге лежат. Пойди и бери! Успевай только!

— Понятно, — вздохнул я, и мы с Машей переглянулись, почувствовав полярную разницу нашего с Мишей понимания жизни.

— А ты-то сюда — к Маше приехал? — задорно подмигнул нам Миха, отправляя в рот вязь квашеной капусты.

— Не поверишь, снова случайно.

— Случайно ничего не бывает, — философски определил Михаил, разливая спиртное по бокалам, и тут же вспомнил нашу встречу на крыльце, где мы говорили о том же самом буквально час назад.

— Это точно, — согласился я. — У одного еврейского писателя прочитал: совпадение — некое шерное слово.

— Не какое? — не понял Миша.

— За ним гнались, — вставила Маша, и Миха тут же переменялся в лице.

— Это не те, что сейчас в морге синют? Со студеного болота?

— Те, — опустил голову я.

— Вот не знаю, че людей в гиблое место несет?! Мне вот это болото по барабану. Че им от тебя надо было? Не, подожди, не рассказывай, давай-те сначала накатим. — Он поднял свои полстакана водки, именно по столько он себе каждый раз наливал.

После того, как мы выпили и закусили, я вкратце рассказал свою невеселую историю, а Маша добавила про Олега, который вроде как меня не

выдаст. Миха задал несколько уточняющих вопросов, закурил и стал почесывать татуированной в синь рукой небритый подбородок.

— Порешаем, — через какое-то время заключил он, — а если не порешаем, то порешим, — и сам засмеялся над своей бандитской игрой слов.

Странное это было время. Действительно, бандиты, криминальные авторитеты могли решить проблему быстрее и безболезненнее, чем официальные лица, чем даже ослабевший в одночасье КГБ и милиция. Правда, потом человек, который воспользовался их услугами, так или иначе попадал к ним в зависимость. Не зря сленг породил новое слово «попадалово», и как самоуверенно они кричали: «Все! Ты попал!» И как глупо и безнадежно бездарно смотрелся в этот момент президент России по фамилии Ельцин. Не знаю, как «наверху», но среди простых людей мне не приходилось встречать тех, кто сказал бы о нем доброе слово. Он и побеждал по простому, известному с древних времен принципу «разделяй и властвуй». И общество делилось, даже патриоты разных мастей готовы были впитаться друг другу в глотку. И, как ни парадоксально, была какая-то внутренняя, необъяснимая тяга людей к объединению. Правда, собирались в основном за бутылкой. И собирались порой совершенно разные люди, каждый изливал свою правду, никто никому не бил морду, но на том все и кончалось... На похмельном синдроме. Пройдет не так уж много времени, и всем захочется уйти от всех. Крайний эгоизм начнет разъедать общество, предоставленное само себе.

— Завтра и поедем, — решил за всех Миха. — Сегодня я уже лишку дал, — он кивнул на пустую к тому времени бутылку, — можно и бухому поехать, но убиться по дурусти — это для салабонов. Давайте-ка еще нальем. — И уже буквально сгрызал пробку со второй бутылки. — Стрелочку забьем, Серега, как положено...

— Да я и не знаю, кому стрелку забивать, — усомнился я.

— Не переживай, сами объявятся. А дальше — мое дело. Укатаем по полной. Беспредел же. Беспредел?

— Беспредел.

— Во, Маша, выходит, и такие, как я, нужны?

— Богу все нужны, да не все идут, — тихо сказала Маша, и Миха даже замер.

— Че, правда думаешь, и я Богу нужен?

— Я не думаю, так и есть. Первым в рай разбойник попал.

— В натуре? — Миха даже привстал.

— Правда.

— Да, — подтвердил я, отвечая на вопросительный взгляд Михаила.

Пока мы ему рассказывали о событиях на Голгофе, он выкурил в две затяжки сигарету, выпил две рюмки и потребовал, чтобы ему это показали прямо в Библии. Маша принесла Книгу.

— Значит, поп на зоне не врал, что Бог любит всех?

— Не врал, — сказал я.

— Бог и есть Любовь, — добавила Маша.

— Надо выпить... — Миха понемногу уходил в алкогольный туман.

Надо отдать ему должное: когда он почувствовал, что поклевывает носом, он засобирался. Маша уговаривала его не садится на руль, но он только отмахнулся, потом облапил ее на пороге:

— Маша, ты такая хорошая! Ты — золото! Я за тебя всех порву! И за тебя, Серега, всех порву! Ты не думай, я не забуду, завтра приеду, будь готов. Поедем в твой областной центр, порвем всех, как Тузик грелку! Как газету растреплем! Как «Пионерскую правду»! Я — за тебя, а Бог —



за меня. Кому скажу, никто не поверит! Разбойник в рай! О! Порву всех за вас! Город этот гнилой по кирпичику развалим! Фраеров... всех... нах... короче...

И все же вывалился на улицу. Плюхнулся на водительское сиденье своего «зубила» и, открыв окно, продолжал нам кричать, что порвет всех и вся. Удивительно, но, когда он завел машину и, с трудом развернув ее, поехал, мне показалось, что машину он ведет ровнее, чем стоит на ногах. Маша тревожно перекрестила его вслед.

Мы вернулись в теплую комнату.

— Ты веришь, что он тебе поможет? — спросила Маша.

— Не знаю.

Честно говоря, мне почему-то было все равно — поможет мне Миха или нет. Так уж складывалось, что треть моих одноклассников или однокурсников так или иначе были теперь связаны с криминальным миром, третья часть ушла в бизнес, а третья часть, к коей относился и я, не могла найти себя в этом безумном мире.

Я вдруг почувствовал страшную усталость, такую, словно весь день разгружал вагоны. А в студенчестве мне приходилось подрабатывать и грузчиком. Поэтому, скинув верхнюю одежду, я просто упал на кровать и закрыл глаза. А Маша также вдруг легла рядом, положив голову на мою грудь.

— Ты на мне женишься? — тихо, будто была в чем-то виновата, спросила она.

— Конечно, милая. Ближе тебя у меня сейчас никого нет! — Видит Бог, я тогданисколько не врал.

Но Маша вдруг спросила:

— Только сейчас?

И я растерялся, сам не совсем понимая, почему вставил в свою фразу слово «сейчас».

— Сейчас особенно, — нашелся я.

И потом мы долго лежали и молчали, потому что молчание порой действительно дороже золота, молчание имеет свойство объять и погрузить в себя, важен только наполняющий его смыслом заряд. Оставаясь в этом безмолвии, как в защитном коконе, мы уснули.

Февральские дни коротки, потому что зима начинается прятаться. Разумеется, в конце декабря дни много короче. Но февральские летят вместе с ветром, они быстрее проживаются, да и сам февраль, как самый недоношенный из всех двенадцати месяцев. А этот год был еще и високосным. Может, и не зря в народе о високосных годах идет дурная слава? Для России 1992-й точно был не самым лучшим...

Миха явился утром, когда мы еще спали. Я представлял, что если он и придет, то ввалится в дом с очередной бутылкой, но он приехал на своем «зубиле» и тихо постучал. На улице поджал морозец, и он ежился на крыльце, даже стеснялся войти.

— Ну че, Серега, готов?

Я даже растерялся, так это было неожиданно.

— Миш, давай хоть чаю... — предложила Маша.

— Да мне бы грамм сто, опохмелиться, но вот на трассе и так уродов пьяных хватает. А нам двести пятьдесят кэмэ, хошь не хошь, по ледянке ехать. Подмерзло все. Колеса хоть и шипованные, но помереть по-дурачки я всегда успею.

— Я и говорю: чаю, и все равно легче будет.

— Ну давай, — сломался Миха, — только побыстрее. Раньше сядешь — раньше выйдешь...

Маша засуетилась у плиты, и я сразу почувствовал знакомый запах гренков. Мы с Мишей сели курить-смолить.

— Маш, ты тоже собирайся, — сказал я, но тут же был прерван на полуслове Михой.

— Сдурел, что ли? Нам еще баб в таких делах не хватало?! — Миша поперхнулся дымом, потом посмотрел на замершую Машу: — Маш, ты извини, ну, говорят так.

— Да я все понимаю, — тихо ответила Маша и снова повернулась к плите.

— Уж вы должны оба знать, женщинам на разборках делать нечего. Это тебе не «А зори здесь тихие». Вкуриваешь? — Миша посмотрел на меня, как на пацана малолетнего.

— Вкуриваю... — Я опустил глаза.

Маша подала чай, все те же ароматные гренки. Колбасы, сыра и масла тогда не было. Но эти гренки были вкуснее всех заморских деликатесов...

— Маш, я обязательно вернусь за тобой, — сказал я уже на пороге.

— Я знаю, — улыбнулась, чмокнула в щеку и сразу отступила, чтоб без долгих прощаний. — Только осторожнее, себя берегите.

— Не вопрос! — отрубил Миха и почти вытолкнул меня на улицу: — Поехали-поехали. Маша, не скучай. День-два — и приедем. Бутылочку приготовь, если сможешь.

— Не вопрос, — по-доброму передразнила его Маша.

Мы хлопнули дверцами, мотор взревел, Миша лихо рванул «ладу» с места, круто развернул на подмерзшем за ночь пятачке возле крыльца и рванул к трассе. Я только успел подумать, что небо почему-то стало ниже. Даже как-то давило. Над всей страной, что ли?

— Миш, так ты реально думаешь, что сможешь помочь в моей беде?

— Да это не беда! Это — фуфель! Беда, когда тебя уже отпевают или близких твоих, да и то не беда! Беда — когда ты парализованный или ножек у тебя нет, глазок. Сечешь? — резонно заметил он.

— Секу, — удрученно вздохнул я.

— То-то...

— Но они, наверное, уже знают, что на студенном болоте два трупа. Думаешь, они поверят, что они друг в друга стреляли?

— А нас это волнует? Кто беспредел начал?!

— По-моему, сейчас по всей стране беспредел, в том числе в вашей, прости, системе.

— Тут ты прав, не по понятиям все. Но где можно, мы правим. Да не кипишься ты, разберемся.

— В натуре?

— В натуре.

И мы замолчали, глядя на нечищенный зимний тракт, летящий под колеса «зубила». Миша включил радио, «попрыгал» со станции на станцию. Надрывались там то некий Доктор Албан, то «На-на», то Кай Метов пел про «позишэн», какое-то время Михаил задержался на «Любэ» — песни «Атас» да «Давай наяривай», но потом на волне их сменили Игорь Николаев с Наташей Королевой песенкой про такси. Он открыл окно, смачно сплюнул на встречный вечер и заключил:

— Нормальных песен нет. У «Любэ» еще туда-сюда... А блатные песни в тюрьме надоели.

— А что бы ты хотел послушать? — спросил я.

Он посмотрел на меня внимательно, долгим пронзительным взглядом, так, что я даже начал переживать (он же не смотрит на дорогу!), и спросил в ответ:

— Ржать не будешь?

— Над чем?

— А мне нравится песенка львенка и черепашки «Я на солнышке лежу».

— Мне тоже нравится, — не стал ржать я.

— А еще люблю песню «Есть только миг».

— Между прошлым и будущим, — продолжил я.

— Да. Только миг. Че, плохая песня?

— Я разве сказал?

— Так, а че они лабуду всякую крутят. Диджей долбаные.

— Для таких песен, знаешь, особое состояние нужно. И климат соответствующий в стране.

— Ну да, — согласился он.

— А мне песня из фильма «Щит и меч» нравится. В конце, когда он из больницы выходит, будто заново мир открывает, а там уже Победа... «Махнем не глядя» называется.

— Не помню...

И тут я запел:

— Прожектор шарит осторожно по пригорку, И ночь поэтому нам кажется темней, Который месяц не снимал я гимнастерку, Который месяц не расстегивал ремней... Есть у меня в запасе гильза от снаряда, В кисете вышитом душистый самосад, Солдату лишнего имущества не надо, Махнем не глядя — как на фронте говорят... Солдат хранит в кармане выцветшей шинели Письмо от матери да горсть родной земли, Мы для Победы ничего не пожалели и даже сердце как энзэ не берегли... — И дальше не смог. В горле встал комок. Я помнил последние кадры одного из любимых фильмов. Вспомнил и Миша.

— Так там еще эта... — похоже, он тоже проглотил комок, — «С чего начинается Родина?» А в этой, которую ты пел, помнишь? Давай с тобою поменяемся судьбою...

— Махнем не глядя, как на фронте говорят... Сто грамм с прицепом...

— Не помешало бы...

А я перестроился на другую песню, которую вспомнил Миша:

— А может, она начинается со стука вагонных колес? С полустанка... — добавил я от себя.

И мы замолчали. Каждый из нас погрузился в свои мысли. В серый, летящий в лобовое стекло февраль...

* * *

Каждый раз въезжая в родной город в то время, я ужасался «железным» шагам рыночной экономики. Буквально на глазах росли так называемые ларьки — кубы из металла с решетчатыми витринами, откуда, как из тюремного окна, выдавали страждущим водку в пол-литровых бутылках из-под минералки. И чаще всего за прилавком можно было увидеть уроженцев быстро ставшего суверенным Закавказья или нашего беспокойного Кавказа. Причем аборигены всерьез обсуждали, какой водкой меньше травмишься — ингушской или осетинской, в то время когда два народа готовились к боевым столкновениям. Самым плохим считался разлив азербайджанский...

Паленая водка, импортное курево и турецкая жевательная резинка — вот основной набор этих ларьков помимо традиционных фруктов. Именно у такого «маркета» остановился еще на въезде Миша. Сунул голову за решетку и громко спросил: «Че у тебя есть?», получив в ответ пренебрежительное «А че надо?».

— Водка нормальная есть? Чтоб без потравы. Заплату нормально. А если с утра голова болеть будет, гранату тебе в это окошко кину.

— Зачем так говоришь? Для уважаемых людей есть нормальная водка. Дороже немного, но есть. Вот! — И из-под прилавка были извлечены две «столичных» поллитровки в стандартном исполнении, даже с заворачивающимися пробками.

Миха взял одну из них, потряс, посмотрел через стекло на содержимое, будто по взболтанным пузырькам мог определить содержание вредных веществ в емкости.

— Пойдет, — заключил он, — и пожрать че-нибудь кинь. Тоже — приличного.

— Щас, все сделаю...

Через пару минут он уже кинул на заднее сиденье пакет.

— Надо было в нормальном магазине купить, — заметил я.

— Где ты видел нормальные? Не кипишись, не отравимся. Они быстро прорубают, с кем дело имеют. Я же ему башку отстрелю, и родной аул не поможет. Мы же их стрижем...

— Долго ли у вас это будет получаться. Закрепятся и сами начнут стричь, — перебил его я.

Он посмотрел на меня серьезно и с уважением.

— Правильно понимаешь. Ну, поглядим. Может, мы до этого и не доживем, — улыбнулся. — Тьфу... тьфу... тьфу... — и смачно плюнул через левое плечо в открытое окно своей дверцы. — Давай, будешь штурманом, я город не знаю. Так что — рули.

Пробок тогда еще не было, хотя ездить все очень быстро начали по принципу «кто наглее» или «кто круче». Не соблюдать правила было, собственно, новым правилом. Сесть за руль в нетрезвом состоянии — почти норма. Главное — распальцовка — кто за тобой стоит: бригада, высокое начальство, милиция или ты сам можешь позволить себе понтоваться. Потому, буквально взлетев на мой крайний пятый этаж, уже через пятнадцать минут мы сидели у меня на кухне. Я жарил яичницу, Миша резал овощи и фрукты и между делом уже успел налить. Подняв рюмку, он вдруг продекламировал:

— Но мне богом дана Молодая жена, Воля-волюшка, Вольность милая, Несравненная; С ней нашлись другие у меня Мать, отец и семья; А моя мать — степь широкая, А мой отец — небо далекое; Они меня воспитали, Кормили, поили, ласкали; Мои братья в лесах — Березы да сосны...

— Это же Лермонтов! — изумился я. — «Воля».

— А чего еще на зоне учить? Я там даже со сцены перед кумом читал. Утренник у нас был в честь Первомая. Я и читал. Так, что братва плакала...

— Сильно, — признал я.

— Давай...

— Щас... — я мучительно вспоминал, дробил память на байты, и вспомнил, и, как и Миха, подняв рюмку, прочитал:

Выхожу я в путь, открытый взорам,
Ветер гнет упругие кусты,
Битый камень лег по косогорам,
Желтой глины скудные пласты.

Разгулялась осень в мокрых долах,
Обнажила кладбища земли,
Но густых рябин в проезжих селах
Красный цвет зареет издали.

Вот оно, мое веселье, пляшет
И звенит, звенит, в кустах пропав!
И вдали, вдали призывно машет
Твой узорный, твой цветной рукав.

Кто взманил меня на путь знакомый,
Усмехнулся мне в окно тюрьмы?
Или — каменным путем влекомый
Нищий, распевающий псалмы?

Нет, иду я в путь никем не званный,
И земля да будет мне легка!
Буду слушать голос Руси пьяной,
Отдыхать под крышей кабака.

Запою ли про свою удачу,
Как я молодость сгубил в хмелю...
Над печалью нив твоих заплачу,
Твой простор навеки полюблю...

Много нас — свободных, юных, статных —
Умирает, не любя...
Приюти ты в даях необъятных!
Как и жить и плакать без тебя!

— Есенин, что ли? — угадал созвучие, но не автора, Миша. В глазах у него стояли пока еще трезвые, но честные слезы. — Как про меня!

— Как про всех нас. Это Блок. «Осенняя воля». Но ты прав, очень созвучно Есенину.

— Напишешь мне?

— Не вопрос.

— Поехали?

— Поехали!

Водка действительно оказалась более или менее приличной. Во всяком случае — резиной не пахла, послевкусие было не тошнотворным. И черный хлеб с огурцом после рюмки — самый как раз!

— А ты вот, Серега, институты кончал, книг, поди, перечел, ну и че? Узнал, че главное в жиз-

ни? — чуть прилбался, видимо, чтобы стереть, перебить в моей памяти минуты его слабости.

Я немного выждал, когда он нальет по второй. Лишь когда выпили, ответил:

— Только не говори, что ты в тюремных университетах все главное узнал. Я это уже от многих слышал.

— Не буду, — вдруг согласился Миха. — Но кое-что узнал. То, чего без шконки этой поганой не узнаешь. Не, не буду я тебе блатную романтику лепить, ты из другого теста. Но душа-то у тебя, как и у меня, русская...

Я не успел даже подумать, что он хотел этим сказать, как в дверь позвонили. Я поднялся было открывать, но он осадил меня за плечо рукой.

— Тихо! Сиди! Я сам пойду, — сунул руку за пазуху, под мышку, подмигнул мне и пошел в прихожую.

И так сказал, что возражать было бессмысленно. Он открыл дверь, и, видимо, разговора там сразу не получилось. Возня только в первые секунды... Зато бухнули на весь подъезд два выстрела, потом третий. И быстрые шаги по лестнице.

Сначала я сжался, потом выпил рюмку водки, перекрестился и совершенно спокойно для себя решил: будь что будет. Вышел в прихожую, в которой витал запах пороха и, казалось, гудело эхо выстрелов — никого. Но стоило толкнуть дверь, как моему взору на площадке предстала типичная картина девяностых годов. Два быкоголовых в крови лежали на одной ее стороне, ближе к моей двери лежал с открытыми и уже остекленевшими глазами Миха. Пуля, вероятно, третьего бандита прошила его голову сбоку, войдя где-то за ухом и разворотив затылочную часть с обратной стороны. В правой руке у него был старенький «ТТ», а в руке у одного из убитых — новенький «Макаров».

Эх, подарил кто-то Михе «ТТ», как я когда-то нож...

У меня не было уже ни испуга, ни отвращения, было только ощущение той самой гулкой пустоты. И скрипнула в ней соседская дверь, одинокая тетя Маша высунула голову из своей однокомнатной и вскрикнула:

— Ой, Сережа, что это здесь?! Ужас! Господи, да что же такое делается-то?!

— Не знаю, — бесцветно ответил я. — Услышал стрельбу, открыл.

— А я-то боялась открывать...

— Я тоже...

— Надо милицию вызвать. — Она тихонько прикрыла свою, а я в это время, словно по чьей-то подсказке вынес Мишин пуховик и положил его

рядом, словно он держал его в другой руке. Ботинки Миша не снимал...

Милицию, передразнил я тетю Машу. И что?

— А мама-то где? — снова высунулась тетя Маша.

— У подруги.

— Слава богу! Чего им здесь надо было?

— Откуда мне знать. Они теперь стреляют где им вздумается.

— Ты маме-то позвони... Чтоб потом крови-то не испугалась. Я мыть не буду. Мне плохо станет.

— Я тоже не буду.

— Я пока закроюсь, ладно? Не могу я на это смотреть...

— Да и я пока закроюсь, — шагнул я обратно в прихожую.

Вернулся на кухню, вымыл Мишины рюмку и тарелку, налил себе еще, но пить не стал. Вдруг возникло чувство, что я зачищаю место своего преступления. Омерзительное и вязкое. С другой стороны, я прекрасно понимал, что теперь меня точно упакуют по полной: ни братва, так милиция, которой глухарей не надо.

Я выглянул в окно. Мишино «зубило» стояло на стоянке во дворе. Номера соседней области.

Что я скажу Маше? Что я буду говорить самому себе? Я даже не знаю, есть ли у Миши родственники?

А Миха... В рай полетел?.. Вслед за тем первым разбойником... Господи, что ж за время-то такое?!

— Вот и порешали, — сказал я вслух и все-таки выпил. Слабые мы в этом смысле, мужики, что в голове не укладывается, что болит, то и заливаем, чтоб потом болело еще больше.

Милиция приехала, как положено, минут через двадцать. Наряд — два молодых парня. Лейтенант и сержант. Небрежно осмотрели место преступления. Постучали во все четыре двери на площадках, но дома оказались только мы с тетей Машей.

— Что видели-слышали?

— Выстрелы, — в этом случае не соврал я. — Был, скорее всего, третий, я, когда дверь открывал, он по лестнице вниз убежал, а потом дверь подъезда хлопнула.

— Ясно. Опять разборки. Ваня, вызывай опергруппу. И этих...

— Криминалистов, — подсказал сержант.

— Ага. Похоже, что этот от них уходил, наверное, через чердак хотел. Не успел. Замка как раз на чердаке нет. Чего не повесите? Все уже давно повесили, железные двери на квартиры ставят. А у вас тут...

— Да как-то не думали, — пожал я плечами.

— Поставьте, а то теперь еще на чердаке ластики придется.

— Поставим, — пообещал я.

— В протоколе распишетесь? — равнодушно спросил лейтенант.

— Я ничего не видела, ничего подписывать не буду, — испугалась тетя Маша. — Вы потом уедете, а они снова приедут и поубивают нас. Ничего, Сережа, не подписывай. Будешь потом и от милиции, и от бандитов бегать...

Тетя Маша была железно права, но я так же равнодушно ответил:

— Подпишу, только быстрее, пожалуйста, мне к матери больной ехать надо...

— Хорошо-хорошо. А вы, женщина, закройте тогда дверь, не мешайте...

— Да закрою, — обиделась тетя Маша и хлопнула дверью.

* * *

Мама приехала минут через двадцать. Застала меня на кухне за допитой бутылкой водки, початой второй. Молча убрала ее со стола в холодильник.

— Есть хочешь? — как-то сурово спросила она.

— Нет, перекусил.

Села на место, где совсем недавно сидел Миша, отчего меня покорило.

— Вот что, сынок, оставаться тебе здесь нельзя. Ты одному из них пистолет в руку вложил?

Я даже вздрогнуть от удивления не смог. Насмотрелась мама свежесвепеченных детективов. Уж если она подумала, что я всех трех на площадке положил, то будь у милиции хоть какая-то зацепка — не слезут.

— Mam, я ни в кого не стрелял.

Еще и болото притянут, подумал я о другом.

— Тетя Маша сказала, что один к тебе заходил, но милиции — ничего. Так что меня за нос не води. А эти во дворе потоптались, а потом — следом.

М-да... Хочешь раскрыть преступление — Cherchez la... бабушка! Эх, тетя Маша...

— Я тут вчера по своим связям кое-что сделала. Все-таки в обкомовской клинике работала. Вот — это твои билеты на самолет до Москвы. А это — до Франкфурта. В Германию. Вот твой загранпаспорт.

— Он советский... — Я не понимал, откуда это все и так быстро.

— Пока нет других. И виза там уже есть.

— Ма-ам? — спросил я.

— Да, ты, конечно, не думал, что мама кое-что в этой жизни может. Знаешь, — она вдруг поме-

нялась в лице, — на меня такие начальники заглядывались. Мы бы сейчас жили не бедно! Но я никогда не изменяла твоему отцу. — На глаза у нее выступили слезы: — В отличие от него. Поезжай.

— Что я буду делать во Франкфурте? Кому я там нужен?

— Просто пока поживешь. И не во Франкфурте, а рядом. Там городок небольшой есть, говорят, очень красивый. Вот адрес. — Она положила передо мной на стол листок, вырванный из блокнота, но я только мельком глянул на него. В голове пока ничего не укладывалось. — Я позвонила одному генералу, — продолжала мама. — Они тут разберутся с квартирой и с этим, как его, наездом на тебя. Наезд, он так сказал.

— Кто?

— Генерал. В Германии живет моя старшая сестра.

— Подожди, ты же рассказывала, что у тебя брат был в партизанах...

— Да, брат был в партизанах, из-за этого мы лишились матери. Ее убили бандеровцы, и меня хотели. А старшая сестра — красивая, пила много и с немцами путалась. С ними и ушла. Когда перестройка началась, письмо прислала. В гости звала... — Мать тяжело вздохнула. — Я не ответила. Не могла ей простить. А вот теперь, теперь — пусть она хоть часть греха своего искупит.

— Mam, да не надо мне ни в какую Германию! Надоело бегать! Я на своей земле, в своей квартире! Я их сам всех перестреляю! Нет уже сил терпеть эти тупоголовые малиновые пиджаки! Их всех перестрелять надо, как бешеных собак.

— Сынок, они сами друг друга перестреляют. Генерал сказал: а мы им поможем. А тебе уехать надо. В консульстве у меня тоже старый знакомый...

— Я не могу, меня там Маша ждет.

— Какая Маша? Где?

— На полустанке!

— На каком полустанке?

— Помнишь, я десять лет назад с поезда сошел? Вы меня все искали? И — Павлик?

— И что там была какая-то Маша.

— Не какая-то! Очень хорошая. Светлый человек. Я ж тебе рассказывал.

— Она до сих пор там?

— Она... снова там.

— Господи Иисусе!.. — вскинулась мама. — И что? Она хочет, чтобы ты был жив и здоров? Как ты думаешь? А я? На тебе сейчас живого места нет. А за своих, ты думаешь, они с тобой разговаривать еще будут? Просто убьют — и все... Вот здесь мама была права.

— Но я не могу. Она меня ждет.

— Напиши письмо, я отправлю.

— Да я не знаю, куда писать? Какой там адрес?!

Не знаю... Знаю, где с поезда спрыгивать!

— Ничего, я найду, как передать, а ты должен отсюда уходить. Сейчас же.

— Ма-ам?..

— Ты хочешь, чтоб я со своими диагнозами еще чуть-чуть пожила?! Тогда поживи сам! Попрошу генерала, найдет он твою Машу.

— Найдет?

— Ну, он большой человек. Помнишь, когда в армии ты заболел? Думаешь, кто меня в твою секретную часть отправил?

— Он что, влюблен в тебя был?

— Ну и что? Я уже тебе сказала. Просто он благородный человек. Таких скоро не будет.

Я удивился своей маме. Очень. Из раздавленной новым временем пенсионерки, не оставившей малооплачиваемой работы, она вдруг превратилась во влиятельную фигуру. Генерал... Консульство... Затаилась, стало быть, старая гвардия.

Я же говорю, странное это было время. Странное и гиблое. Безысходное и неровное: то быстрое, то зависающее в одной точке. И пьяное... Размазанное, как картины импрессионистов. А вот «Болеро» Равеля, как иллюстрация, к этому времени никак не шла.

— Тетку твою зовут Зоя. — Мама вернулась из воспоминаний, которые добавили ей морщин. — Характер у нее скверный. Поэтому будь покладистее. Вот адрес. — Протянула мне листок.

— Двадцать километров от Франкфурта... Кронберг... захолустье какое-нибудь...

— Знаешь, сестра мне писала, когда перестройка у нас началась. Видать, одиноко ей там стало. Ну писала там, фото присылала дома своего. А я выбрасывала ее письма. Не отвечала. Только с братом переписывалась. А потом он запил. Оба они пили... Один за советскую власть, вторая — за фашистскую... Прости господи... В общем, как росла я после войны сиротой, так и под старость осталась. Но вот адрес ее не выбросила. Что я хотела сказать?.. — Мама наморщила лоб, а потом стала тереть его с такой силой, словно хотела навсегда эти морщины разгладить. — А! Старая дура! Вспомнила, что хотела сказать. Нет там захолустья. Нигде. Цивилизация в каждом углу. Плохо, видимо, мы их победили. Отец твой туда ездил. В командировку. Я ему говорила к ней не ходить. А он сходил. Подарков привез. Только я выбросила все... Не надо мне от них ничего. Маму из-за нее убили. Мне пришлось бежать и жить приживалкой. Вой-

на, Сереж, не кончается, пока живы те, кто ее видел...

— И их дети, — добавил я.

— А немецкий офицер добрый был, — снова вспомнила она. — На флейте играл. Я тогда не знала, что это флейта, дудочка — и дудочка. Он заиграет, а я тихонько танцую. Другой-то музыки и не слышала. А вот песни у них дрянь. Горланят на своем грубом языке еще хуже наших пьяных мужиков. Не чета украинским песням. В общем... песни какие-то, все на марши военные похожи. Души в них нет.

— Может, они пели только такие... Германия, мама, — земля великих композиторов, а настоящих композиторов вдохновляет именно народная музыка.

— Может... Но то, что пели они... Собаки приятнее лают и воют. Напьются и мальчишкам нашим сахар обоссанный кидают. А те хватают и едят. А фрицы ржут, как кони. Пальцами в них тычут. И снова обоссут сахар и кидают, как собакам... — На глаза навернулись слезы. — Может, и цивилизация у них там, но я порядочного только одного видел. Офицера этого. Фридрих его тоже звали. Он даже маме помогал ведра с водой носить. И не приставал никогда. А Зоя с унтером каким-то путалась. У того пивоварня своя в Германии была. И говорила, что ее Фриц нашего проживальца за пояс заткнет. Мол, у того за душой только образование. Что он чуть ли не консерваторию окончил и его в армию забрали. А вот ее Фриц-Фридрих — у него пивоварня своя, и он сам на фронт пошел. Тупых москалей культуре учить.

Я вроде погружался в картины, которые дарил мне память матери, но мысли о Маше не давали покоя.

— И что я буду делать у этой тетки Зои? С нашей точки зрения она коллаборационист...

— Кто?

— Ну... изменница.

— Да уж сколько воды утекло...

— Не воды, мама, а крови, и никогда она временем не окупится. Сколько наша семья и семьи наших родственников на этой войне потеряли?

— Сколько? — задалась тем же вопросом мать. — О... А мы и не считали никогда. А надо бы. Я вот сяду, всех вспомню, кто воевал, кто в оккупации, кто в тылу погиб. Всех вспомню и в блокнот запишу. А ты сохрани.

— Сохраню...

Вереница лиц погибших родственников с нечетких пожелтевших черно-белых фотографий заставила нас замолчать. Почти в каждой семье есть такая «галерея». Интересно, как с этим в Германии?

Раньше они, хотя я или нет, жили с чувством вины, а теперь вот, наверное, снова начнут жить с чувством превосходства...

— Мам, зачем мне туда ехать?

— Надо, сынок. Здесь нынче у тебя враги не хуже фашистов. И как таких русские матери выносили, как их земля наша держит?

— Да она их, мама, и принимает теперь бригадами. Каждый день похороны. Может, тем и очистимся. Нашей стране, прости господи, похоже, всякий раз для очищения война нужна.

— Война-то со своим народом, — вздохнула мать, — за какую победу в такой войне биться? Тьфу! — сплюнула в сердцах. — Гореть им всем в аду.

— Гореть, — согласился я, — но они про ад ничего не знают, а воюют за маленький рай для себя на земле.

— Мне Горбачев сразу не понравился. И пятно это страшное у него на лбу. Меченый, он и есть меченый. Бог шельму метит, это точно.

— Мам, ельциноиды еще хуже. Но мне щас не до них. Мам, мне надо с Машей решить. Считаю, что это невестка твоя... — Я опустил глаза.

— Согрешил, значит, — снова она тяжело вздохнула и опустила глаза, словно она была виновата, а не ее сын.

— Любовь — грех, что ли?

— Любовь — она не только плотская.

— Да знаю я! — отмахнулся, не хотелось мне сейчас нравочений. — Мне нельзя ее потерять. Она светлый человек. Иногда, кажется, что мысли мои читает.

— А что вас, кобелей, читать, — ухмыльнулась мать, — я вот отца твоего покойного вдоль и поперек прочитала. Все его измены наперечет знаю! Все его желания, слабости... Чего там читать-то?

— Мам, не надо плохо об отце...

— Да, ты прав... — Помолчала, погладила меня по голове, как в детстве. — Тебя так не прочитаешь. Ты у нас умный. Да и добром тебя Бог наградил. Не переживай, найдем мы твою Машу. К себе даже пригласу...

— Сюда, что ли? Под пули?

— Ну... Придумаем что-нибудь. Ты лети. А то мое сердце не выдержит. И тогда и меня можешь потерять, и Машу не найдешь. Лети, сынок... — На глазах у нее опять появились слезы.

— Да не могу я тебя тут одну оставить! Я тебя должен защитить!

— Все! Защитил уже. Это не твоя война. Ты свое в армии отвоевал. Все, — как застолбила, — едешь.

— Мам...

— Пока те или другие, милиция или бандиты снова не явились, пойдешь поглажу тебе вещи в дорогу, сам собери еще, что тебе нужно...

* * *

И все же я уговорил ночного таксиста съездить туда-обратно на богом забытый полустанок. За приличную, конечно, пачку денег. За нудный разговор в дороге. Ни о чем. О том же, о чем тогда говорили: куда страна катится?

Он терпеливо меня ждал, выкуривая одну сигарету за другой, пока я стучал в двери и окна. Но никто не открывал. Даже окна помертвели. Маши там не было, словно не было вовсе, словно мне все приснилось или почудилось. А я не знал, где живет Олег, где его искать, чтобы попытаться узнать хоть что-то. Мы крунулись до ПОМа, но там его, разумеется, не было. И в больнице, где дремала фельдшер, я тоже ничего не узнал. Пролетавшие мимо пассажирские поезда и товарняки наматывали на колеса то небольшое время, что оставалось у меня до регистрации на московский рейс.

Куда она могла уехать? Надолго ли? Почему? Может, что-то случилось у родственников?

Оставалось надеяться на то, что мама ее найдет. Если мать обещала, она всегда старалась выполнить обещанное любой ценой. Генерал, опять же...

В аэропорт я принес тяжелое сердце и чувство трусливого беглеца... Может, и Сашка Хлебодеров бежал так же? Хорошо бы.

И брошенный на лестничной площадке Миша стоял у взлетной полосы. Ничего не бывает случайно.

И только томик Гладкова на коленях подтверждал — все это было. А я верил, что вернусь очень скоро. «Толкование Евангелия». Кто бы мне, грешному, растолковал, правильно ли я поступаю. Но пусть меня осудит тот, кому не ломали ребра в это смутное время, кого не ставили на счетчик, кто не спивался от безнадежной безысходности, у кого все получалось и кто может с горделивой уверенностью сказать: я хороший порядочный человек. Я так сказать не мог. Мне было уже не страшно. Мне было больно. И к слову «больно» я могу лишь добавить лишь наречие «смутно». Как и ко всему времени. Смутное время.

* * *

После России, заваленной темно-серыми снегами, продуваемой со всех сторон евразийскими ветрами, свежееобъединенная Германия показа-



лась мне пусть и не райским уголком, но тихим и уютным государством. Там уже кое-где проби- валась травка, тщедушная такая, немецкая, как будто сразу причесанная. Стылый ветер хоть и гулял вдоль улиц, но вовсе не мешал продавцам цветов каждое утро выставлять прямо к порогу холодостойкие бруннеры, астранции, пиретру- мы, гайллардии, различные декоративные розы и другие цветы и растения. И цветочный запах смешивался с запахом кофе и свежеспеченно- го хлеба. В маленьком Кронберге (гора короны, следует понимать) всякий новый человек в те вре- мена был заметен. Туристов, приехавших в отель Франкенштейна (так я назвал «Гранд Кемпински отель Фалькенштейн»), действительно похожий на средневековый замок, запоминали в лицо, если они приехали на сколь-нибудь долгий пери- од. А иногда и по имени. Не знаю почему, но на первую ночь я остановился именно в этом отеле, хотя мне, изучавшему английский, весьма мешал языковой барьер. Но «битте Германия» за деньги понимала все. Мне хотелось отлежаться, как мед- ведю в берлоге, собраться с мыслями, адрес тети тихо лежал в бумажнике и никуда не торопил.

Первое общее впечатление: прибранность и размеренность. Иногда возникало чувство, что

вокруг никто не работает, а если и работает, то не спеша, будто занимается любимым хоб- би. И возникал резонный вопрос: кто ж тогда созидал германское экономическое чудо, что зиждилось на куче долларов по послевоенному плану Маршалла? Я, русский, никого своим по- явлением не удивил. Как потом выяснилось, чуть только приподнялся железный занавес, жители всех республик бывшего СССР ринулись в Европу за счастьем и прибылью, а Восточная Европа тут же устремилась в буквальном смысле подметать Западную. Потому и не было у меня проблем уже на первом завтраке в отеле, раз под рукой оказался пусть и неразговорчивый, но все-таки воспитанный на русском языке официант из Ива- но-Франковска. Мы не задавали друг другу во- просов после того, как определились с местом отбытия каждого из нас, а все, что я попросил на завтрак, он принес. Мне не нужны были новые знакомства, а он, похоже, еще стеснялся сво- ей новой работы в роли подносила. Хотя, как я заметил, немецким гостям Кронберга, или тем более англоговорящим, он прислуживал с улыб- кой и даже подбострастием, и улыбка его чуть сникала, лишь когда он чувствовал на себе мой ироничный взгляд.

Единственный вопрос я ему задал, уже выкурив после завтрака сигарету:

— Здесь где-нибудь есть православный храм?

— Пан — не атеист? — на украинско-польский манер спросил в ответ он.

— Нет, — осенил я себя широким крестным знамением.

Похоже, что крестное знамение изменило его отношение ко мне. Он даже потеплел взглядом.

— В Бад-Хомбурге.

— Это что?

— Город, в двадцати километрах отсюда. На такси недорого можно доехать. Можно на автобусе. Остановка — там. — Он указал рукой за окно, где над лужайкой перед отелем тянулась аккуратная улочка.

— А что, в Сибири храмов нет? — хитро улыбнулся он.

— Есть. Открыли многие заново. А что — работы на Украине нет? — парировал я.

— В Украине, — поправил он. — Для кого есть, для кого нет.

— Спасибо, — сказал я и оставил ему приличные чаевые.

— Удачи... пан. — Он словно нехотя произнес последнее слово.

— Не заморачивайся, я перебыю без господских величаний.

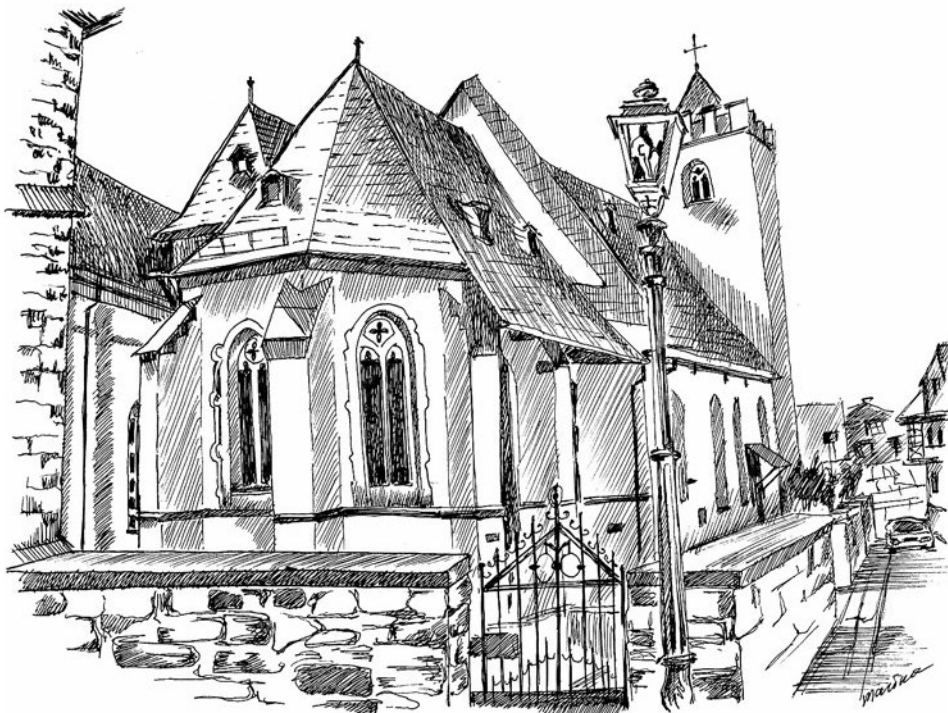
Он посмотрел на меня теперь уже с явной благодарностью, но отрапортовал:

— Здесь так принято. Это моя работа.

— Удачи.

Прогулка по Кронбергу принесла мне огромное удовольствие. Мало того, что места вокруг были живописные, но и сам городок, с его узкими тихими мощеными улочками, виллами богачей, которые, по всей вероятности, уезжали сюда от суеты мегаполисов, маленькая площадь перед маленькой ратушей, резиденция вдовы императора, возвышающийся над городом замок, являли собой такую точечную концентрацию истории, что, казалось, ты проходишь не по улице, а сквозь эпохи. И этот размеренный, уютный быт чувствовался не только в домах, но и на улице. С печалью вспоминал я ослепшие от грязи и времени окна купеческих особняков в родном городе. Может, они такие оттого, что им пришлось много повидать? Уж куда больше, чем этим бургерским домикам... А может, мне было просто обидно за свою исстрадавшуюся Родину, к которой вдруг стали пренебрежительно относиться даже те, кому она дала куда как больше, чем многим из жителей маленького Кронберга.

Слабый английский и язык жестов довел меня до дома, указанного на заветном листочке от мамы. Серый, крытый красной черепичной крышей... Такой же, как все. Вот только окна наглухо занавешены. Вход с улицы. Поднявшись на небольшое крыльцо, я нажал на кнопку старого звонка. Дверь долго молчала мне навстречу. Ша-



гов за ней я тоже не слышал. Наконец она тихонько приоткрылась, и в небольшой проем выглянула крашенная в золотистый цвет старушечья голова. Тонко выщипанные брови над яркими, удивительно молодыми глазами вскинулись, ярко-красные алые губы под тонким носом чуть скривились:

— Сэргий? — огорошила меня узнаванием тетя, не видевшая меня ни разу в жизни. — У нас в роду вси красыви.

— Тетя Зоя?

— Изольда! — поправила она чуть высокомерно.

— Тетя Изольда, — принял я правила игры.

— Фриц называв мэнэ Изольдою. Чого стойиш? Проходи... — раскрыла она дверь шире, — ласкаво прошу в хату зрадныци... — Ухмыльнулась. — Маты, мабуть, про мэнэ всякого набалакала. Так шо ты в гостях у фашистської пидстылки. А про любов шо-нибудь чув?

— Приходилось. — Я с тоской подумал о Маше.

— Мы с Фрицом сорок шість рокив душа в душу прожили. Добрэ, шо до амэрыканської зоны окупации дотягли. А то гныть бы нам в лагэрях. Хиба нэ так, скажэш?

— Не скажу.

— Ну, дай хоч я на тэбэ подывлюся. Гарный хлопэць. Дужэ гарный! Точно у нас в роду вси таки. З нимкэнями, дывысь, обэрежно. Воны на пэрэдок слаби, та й на голову не дужэ.

— У меня девушка в России.

— Москаль!

— Сибиряк.

— Ой, выкрутывся!

— А чего мне вертеться?

— Ну, раз до титки-зрадныци прийихав, то е чого выкручуваться. Гаплык ваший Совдэпийи! — Это она сказала с таким торжеством, что я едва сдержал ответную тираду.

— Посмотрим еще...

— А шо дывыться? Ужэ й звидсися выдно всэ. Зараз тики Сталин миг бы всэ выправыть, а у вас такый нэ родывся. — Она явно испытывала восторг победительницы, словно сама только что развалила Советский Союз. — Тэпер вас банкиры захоумтають!

— Тетя Изольда, вы могли бы говорить на русском языке?

— О, а кажэш нэ москаль! Да, можу, и по-руському и по-нимэцькому, нэ тупыця ж послидня. У мэнэ Фриц на всих мовах балакав. Каханюю по ночам называв... Ладно, — ухмыльнулась она, прикуривая сигарету, — будем по-русски...

Эх, похоже, эта старушка еще покоптит по этому свету с сигаркой в зубах. Не худая и не толстая,

в меру, как говорил Карлсон, упитанная, пожилым бюргерам в искушение оставленная вдовствовать, она была еще полна энергии. И, судя по всему, заправлялась ею из множества бутылок, что стояли на кухне. Определив вектор моего взгляда, тут же предложила:

— Ну, выпьем за встречу, племянник? Чего тебе налить? Водки? Шнапс? Виски?

— Виски, — попросил я, будучи не избалованным буржуйскими напитками.

Она тут же кинулась к своему обильному бару, «выкатила» на стол одну из початых бутылок. Потом посмотрела на меня с сожалением.

— Ты ж с закуской привык! А у меня, небось, рефрижератор пустой.

— Да я и так могу...

— О! — налила на дно двух стаканов. — А вещи-то у тебя где?

— В гостинице. Я ночью приехал, беспокоить не хотел.

— О, стало быть, деньги на гостиницу есть.

— Да есть немного.

— Если немного, то нечего ими кидаться. Я до часу ночи никогда не ложусь. Ждала ведь. Мать-то твоя в кои-то веки аж на международную телеграмму раскошелилась. Я-то ее звала Фрица хоронить да помянуть, думала, уж все быльем поросло, так нет, не приехала. Поди, сказала, фашистов не хороним...

— Ничего она не говорила. Просто промолчала.

— Ладно-ладно, не выгораживай. Я ведь ее вот с таких не видела, — она показала ладонью расстояние от пола. — Ну, давай еще по маленькой, у меня норма — три дозы. О! У меня лимон есть и хлеба немного, будешь?

— Буду!

Она открыла холодильник и в его огромную, почти пустую утробу прокричала:

— О, и масло есть, и ветчины кусок. Память-то у меня старческая. Вот мы сейчас... — Она стала носить продукты на стол, и среди объявленного появились еще оливки в стеклянной банке, которых я ни разу в жизни не ел, паштет и кусок твердого сыра.

— Капец тебе, мальчиш-кибальчиш, — тихо вздохнул я, глядя на закуски, но тетя не услышала, и мне не пришлось пересказывать ей рассказ Аркадия Гайдара.

— Ну вот теперь давай еще по одной, — устроилась она напротив, после того как весьма широкими ломтями нарезала ветчину и сыр. — Ешь, не стесняйся. — И тут же перешла на другое: — Жить будешь наверху. Там у нас две комнаты. Мы с



— Ну, сходи. Ключ вот возьми. Я прилягу. После обеда всегда ложусь. А вечером в ресторан сходим. Я угощаю.

— Спасибо, тетя Изольда.

— Bitte schön...

* * *

Я смог позвонить маме только через три дня, когда разобрался с местными телефонами-автоматами. При тете из ее дома мне звонить не хотелось, а сотовые телефоны еще только-только начинались.

— Мама, Машу нашли? — первое, что спросил я, услышав ее голос в трубке.

— А я думала, ты хоть спросишь, как мое здоровье, — тихо ответила мама, и мне стало

очень стыдно.

— Прости, мам, как ты?

— Нормально. Следователи уже два раза приходили. Но они считают, что это дело... как его...

— Глухарь, — подсказал я.

— Да, как-то так они сказали.

— А что про Машу?

— Сережа, я сама туда съездила, генерал даже свою «Волгу» дал. Но на том полустанке никого нет. Домик закрыт. Я заехала даже в сельсовет, к участковому...

— Олегу?

— Ну не знаю, как там его зовут, но он очень на меня подозрительно посмотрел, спрашивал, зачем я интересуюсь, я же не могла ему все рассказать. В общем, никто не знает, где твоя Маша. Может, говорят, в райцентр уехала. Сделаем запрос. Постараемся найти.

— Mam, это очень важно для меня... Я не хочу снова упущенную возможность...

— Чего?

— Да ничего. Это я так. Теория есть одна. В университете изучал. Найди Машу, иначе я вернусь.

— Не вздумай! Тебя в тюрьму, меня в гроб! Этого хочешь?

— Mam...

— Я делаю все, что могу!

— Mam, этот участковый, Олег, он, скорее всего, что-нибудь знает.

— Он и сказал, что эту единицу на железной дороге сократили. И сказал, что сам посоветовал Маше уехать. Там каких-то бандитов рядом убили.

Фрицем сдавали их. А сейчас там пусто. Вот ключ. Вход с улицы отдельный. — Выложила на стол из кармана халата, отчего стало ясно — меня она ждала. — А робить... тьфу... работать — что думаешь?

— Не знаю. У меня гуманитарное образование, здесь оно не пришей кобыле хвост, и немецкого я не знаю.

— Налей тете еще, я так лучше думаю.

Я выполнил ее просьбу, точно соблюдая ее дозу. А когда выпили, попытался налить снова, но она накрыла свой стакан ладонью.

— Все! Доза! Фриц меня вылечил. Я больше ихнего теперь не пью. Давно уже... Там бы, — она кивнула в неопределенную сторону, подразумеваемая, видимо, Украину и Россию, — спилась бы уже, в могиле лежала. Если б до того в лагерях не сгноили. А Фриц, он обо мне заботился, фашист проклятый... — Она сказала это так нежно и ласково, что слово фашист прозвучало в значении «любимый». — Он как пивоварню продал, мы сюда и переехали, стареть тут решили. Тихо. Спокойно.

— Тихо. Спокойно, — согласился-повторил я.

— А у вас-то там совсем плохо?

— Самое страшное, что не знаем, чего еще ждать, — ответил я.

Тетя Изольда сочувственно вздохнула.

— Да и здесь тоже молодежь начинает с ума сходить. Ты, если хочешь, наливай себе еще.

— Не. Хватит. Надо в гостиницу сходить, за вещами.

Так вот, их целая толпа на машинах приехала. Весь поселок на уши поставили.

— Блин!..

— Не блинкой! В общем, я думаю, Маша твоя правильно сделала. Если в райцентр уехала, значит, там мы ее найдем. У генерала серьезные связи.

— Выходит... я ее снова обманул...

— Сережа, я сама пока из дома уехала, ты меня пожалей!

— Да, мама... Никогда не думал, что буду бежать из своей страны от каких-то подонков. Не могу я жить как трус...

— Как там Зоя? Состарилась?

— Живее всех живых. Персональный германский пенсионер. Сто очков нашим бабушкам на лавочках делает. На тебя обижается...

— На себя пусть обижается. Бандеровцы из-за нее мать убили... Меня, семилетнюю, к стенке поставили.

— Так она что, выдала?

— Пьяная она была, а когда наши подходили, и немцы и полицаи совсем озверели. Офицер съехал, заступиться за нас некому было. Она и лягнула Фрицу своему, что мать хлеб партизанам пекла, а брат отвозил. Коля успел сбежать, а маме бежать было некуда.

— И ты меня к ней отправила?

— А куда? Там надежнее всего! Как она к тебе отнеслась?

— Хорошо, мама. Правда, хорошо.

— Ну ладно, пусть хоть немного из того — что должна — вернет. Пьет, небось, до сих пор.

— Мало-помалу. В рамках приличия.

— Смотри-ка ты...

— Мам, ты Машу...

Трубка загудела, кончился набор монет, которыми я «накормил» автомат перед разговором. Сгорели быстро и много. Перезванивать я не стал. С мамой всякий раз можно говорить долго, но самого главного я бы все равно не узнал.

* * *

Я ничего и никому не открою нового, если скажу: можно жить в одном городе и годами не встречаться со знакомыми людьми, а можно выехать на просторы планеты и тут же столкнуться лоб в лоб с однокашником, однокурсником, сослуживцем, с тем, с кем ты был в одном детском садике и сидел, что называется, на параллельных горшках. Я назвал это «парадоксом путешественника». Видимо, не только в квантовой физике чего-то там к чему-то еще притягивается. Но и люди, подвер-

женные, с точки зрения некоего высшего взгляда, хаотичному движению, притягиваются друг другу. Особенно если они далеко от общей языковой зоны притяжения.

Так в одном из баров Франкфурта, того что на Майне, я столкнулся со своим одноклассником. Точнее, не в баре, а у таксофона, когда звонил маме. Вышел я, конечно, из бара. А во Франкфурт приехал без каких-либо целей. Я вообще уже три недели жил без каких-либо целей. Тетя Изольда отправляла меня раз в неделю в один из антикварных магазинов, куда я отвозил трофейные «штучки» дяди Фрица. Вообще, надо заметить, что Фриц был не дурак. Свою возлюбленную он отправил «на принудительные работы» в Германию еще в конце 1943-го, когда понял, что дальше будет только хуже. Сам получил «необходимое ранение» и демобилизовался в 1944-м, когда шансы вермахта были равны нулю. А прихватил с собой только то, что действительно имело ценность, то, что теперь Изольда Крюгер (урожденная Карпенко) понемногу продавала. Продавала, скорее, не из соображений улучшить материальное положение, а для того, чтобы дать мне заработать, потому как от проданного я получал процент. Так, видимо, она считала, безобиднее помогать мне — бездельнику — деньгами. И я вынужден был принимать эти правила игры. В тот день я отвез во Франкфурт золотой портсигар царских времен с витой монограммой и два кортика: один морской русский с наборными ножнами конца XIX века и кортик какого-то аса люфтваффе. К своему стыду, как историк, я не знал, что кортики носили и немецкие офицеры ВВС. Сдал без труда все это в магазин, где меня уже знали, как знали и Изольду Крюгер, иначе она бы меня туда не отправила. Первый раз я поехал туда с сопроводительным письмом. Но о чем я?

После магазина я обычно шел в бар. Что еще делать русскому бездельнику в Германии? Пропустить пару кружек пива или сразу залиться шнапсом. Между первой и второй, пока еще в трезвом уме, я звонил маме, чтобы услышать, что поиски Маши так и не увенчались успехом. Меня стала одолевать мысль, что нужно бросить все и срочно лететь в Россию. Но мама предостерегала: следователи уже не ходят, зато ходят какие-то подозрительные парни с бычьими шеями. И я тут же вспомнил самодовольную рожу в квартире Саши Хлебоделова. Пережду еще... Хотя почему я не мог этого сделать где-нибудь в глухой российской деревушке? Мысль эту мой мозг обработать не успел из-за «парадокса путешественника».

— Маме привет передай!

Я удивленно оглянулся и тут же узнал за своей пиной улыбающегося одноклассника Диму Попова.

— Дима, какими судьбами?!

— Это ты как сюда попал?

— К тетке приехал...

— А я тут работаю.

— Кем?

— Ну, стройматериалы туда-сюда отправляем, — неопределенно ответил Дмитрий. — Я смо-
трю, из бара знакомый парень вышел, даже не поверил. Потом уж услышал, как ты по телефону говоришь... Пошли обратно! Это дело надо об-
мыть, сто процентов!

— Пошли...

Что делают двое русских на чужбине, осо-
бенно в Германии, после неожиданной для обо-
их встречи? Методично напиваются, рассказывая
друг другу о том, как складывалась жизнь за весь
период, пока не виделись. Потом вспоминают, что
Германию победили, и удивляются, почему же тут
живут лучше. Потом обещают еще раз взять Бер-
лин, а заодно еще Мюнхен, Франкфурт, Дрезден
и все, что под руку подвернется. Потом спорят,
кому платить за выпитое, и в заключение глупо-
вато пристают к немецким фрау, вывалившись в
обнимку на улицу, чтобы утром ничего не знать,
кроме головной боли...

И я не помнил самого главного: как Дима по-
садил меня в автобус и как я уснул в одежде на
втором этаже? Не помнил, видела ли меня тетя
Изольда. И второе, не менее важное: я не мог
вспомнить, как найти Дмитрия, хотя отчетливо
помнил, как он мне подробно объяснял. Где-то
в кармане должна была быть салфетка из бара,
на которой он мне писал свои координаты, но ее
не было. Зато были пятьсот марок, которые (я
с трудом вспомнил) он сунул мне в карман, ко-
гда я пронюнил, что мне нужны билеты в Россию.
Именно за это было очень стыдно...

Тетя Изольда встретила меня с довольной
ухмылкой.

— Погулял на славу, — профессионально опре-
делила она.

— Не поверите, одноклассника встретил.

— О! То ли еще будет! Думаю, будет вторая
оккупация Германии. Рюмку выпьешь?

— Н-не-е... Кофе.

— Выпей, а то помрешь. А потом уже кофе.

Она как хозяйка положения плеснула мне и
себе виски, потом поставила на горелку турку с
кофе.

— Ну, давай, пусть тебе полегчает! — повод
не важен, важно, что в ежедневном принятии ее

дозы надо составлять ей компанию. И словно в
ответ на мою мысль: — Представляешь, я вчера
одна пила! Как алкоголичка! Ты уехал, Хеди (со-
седка-пенсионерка) не пришла. Чокнулась с канц-
лером, он по телевизору выступал.

— М-да... — это все, что я мог сказать.

— Что м-да... поднимай давай — и пей. Расквась
мозги.

— Мне надо в Россию.

— О, придумал. Твоя мать сказала, что тебя
там могут убить.

— Вы звонили?

— Звонила.

Тут уж я подхватил стакан и единым залпом его
осушил.

— По-русски, — усмехнулась тетя, сделав не-
большой глоток. — Вот и кофе твой убежал!.. —
ринулась к плите, словно ей было двадцать, а не
семьдесят.

Несколько глотков горячего кофе хоть и с про-
буксовкой, но вернули меня хотя бы к возможно-
сти воспринимать этот мир.

— Я устал бояться... И... я все равно боюсь... —
признался я после третьей.

— Ты вот что, — вдруг стала очень серьезной
тетя, — езжай в Бад-Хомбург. Там есть неболь-
шая церковь Всех Святых. Красивая. Ее после
войны заново открыли, а построена еще при
царе. Нашем царе. Он, говорят, сам на заклад-
ке был.

— Николай Второй?

— Ну а кто? Вместе с Александрой Федоров-
ной. А архитектор знаешь кто? Знаменитый Бенуа!

Я с удивлением посмотрел на свою фашист-
скую тетю, она заметила и быстро разгадала мой
взгляд.

— Ты не смотри, что я хохлушка из мазанки.
Фриц, он хоть сам недалекого ума был, больше
по коммерции, он меня приучил музыку хоро-
шую слушать: Бетховена, Моцарта, Вагнера, Гри-
га... А я уж в отместку потом ему сама выслушала
и его заставила: Чайковского, Глинку, Рахманино-
ва... Последнего он шибко полюбил. И книги мы
друг другу на ночь читали. Так что ты меня ду-
рой-то не держи... И в Бога я верю, хоть и тварь
грешная, потому как без Божьей воли не жить бы
мне, точно...

— Да уж я вас душой точно не держу, — сму-
тился я. — Просто вы такая разная.

— Ну... была неграмотная. Но университеты
не обязательно кончать, чтобы «Лунной сонатой»
восхищаться. Не так, скажешь?

Я промолчал. Тетя вдруг решила нарушить
свою ежедневную норму и налила еще по одной.

— Я по ночам порой плачу, — призналась она. — От жизни своей беспутной. Потому езжу иногда к отцу Димитрию, он там, во Всехсвятской-то и служит. Потом легче немного. Так ты поезжай...

— Поеду, я давно хотел.

— Поезжай. Да поставь Богу свечу, что жив остался.

И еще долго мы беседовали с тетей. Ее рассказы о жизни в послевоенной Германии дорогого стоили. О том, как нагло вели себя в своей зоне оккупации американцы, о том, как покупали они с Фрицем первый автомобиль, о том, как учили они языки.

— А тот офицер, что жил в вашей хате, он жив остался? — спросил я вдруг.

— Да кто ж его знает? Фриц над ним потешался. Нельзя музыканту ротой командовать. Тем более на Восточном фронте. Скорее всего, загинул где-нибудь в России. Что? До сих пор меня фашистской подстилкой считаешь? — вскинула она вдруг хмельной взгляд.

— Все сложнее, — ответил я.

А она налила снова.

— Я много об этом передумала. Очень... И если с той стороны смотреть — то никак по-другому и не назовешь. А если выше встать? Но разве можно встать над такой страшной войной? Думаешь, тут все так гладко и тихо было?

— Не думаю. Дрезден вон не разбомбили, а буквально расплавили...

— Ну... здесь-то тише было... Франкфурт-то даже после войны столицей хотели сделать. Тут же штаб-квартира американцев была. А во время бомбежек больше пяти тысяч погибло...

— Ну... у нас только в Ленинграде — миллион...

— Да знаю... По отцовской-то линии много у вас воевало?

— Два дяди до Берлина дошли... От Сталинграда.

— Ух ты!

— Ага. Рассказывать не любили, но вот так, за бутылочкой, иногда разговоришь... Когда я спросил, что на войне главное, дядя Боря как-то ответил: научиться жить. Не выжить, а именно научиться жить...

— И Фриц не любил войну вспоминать. Не забывал, не мог забыть, но вслух не особо вспоминал. Часто говорил: правильно, что нас русские победили. Все, говорил, честно было.

— Тетя Изольда, простите, если вопрос не к месту, а дети-то у вас были?

Тетя содрогнулась и тут же стала обычной старушкой. На глаза выступили слезы. Она стала

смотреть в желтые блики разлитого по стаканам виски, словно там можно было увидеть ту самую истину.

— Был... сын... Джонни... Разбился на машине...

— Джонни?

— Мы назвали его в честь американца, который меня не выдал — репатриировать.

— Американца?

Она посмотрела на меня сквозь слезы:

— И там люди... И там войны не хотели. Это ж толстосумы все затеяли. Гитлер — так, игрушка. Опасная игрушка, Фриц так говорил. А я вот Изольда стала. И никак иначе... Налей-ка еще, сынок, помянем... Обоих Джонов.

Она назвала меня «сынок», и я не знал, как к этому относится. Обида матери и боль моей страны заслоняли от меня боль тети Изольды... Я молча налил.

— Гитлер капут, — жестко сказал я.

— Капут, — запивая виски слезами, согласилась она.

* * *

Всехсвятский храм в Бад-Хомбурге был великолепен. Он располагался в городском парке. Красные кирпичные стены, украшенные изразцами с двуглавым византийско-русским орлом, золотая маковка в центре, Спас Нерукотворный над входом и шестикрылый серафим под ним... И — как новенькая. Хоть и строили ее в конце XIX века, стиль относился к веку XIV, никак не раньше... Уютная, как домашняя. И всем своим видом и убранством встречающая: я православная! Увидел — словно островок русской земли!

И, как потом выяснилось, мне повезло, службы в церкви не каждый день. Прихожан немного. На воротах — расписание. С беглого взгляда понял, я попал на службу, которая бывает здесь всего два раза в неделю. Воистину: если идешь к Богу — не промахнешься!

К отцу Димитрию я подошел после службы, точнее, после того, как все прихожане получили от него благословение и ответы на все вопросы. В общем образе священника сразу угадывалось главное: человечность. Или, как правильнее говорить, любовь к ближнему. Он терпеливо выслушал всех старушек: и на русском, и на немецком. А когда подошел я, сразу оценил ситуацию...

— Если вы не против, давайте начнем с исповеди...

— Я не исповедовался полгода... Не меньше...

— Вот с этого и начнем. Великий Пост. Первая неделя.

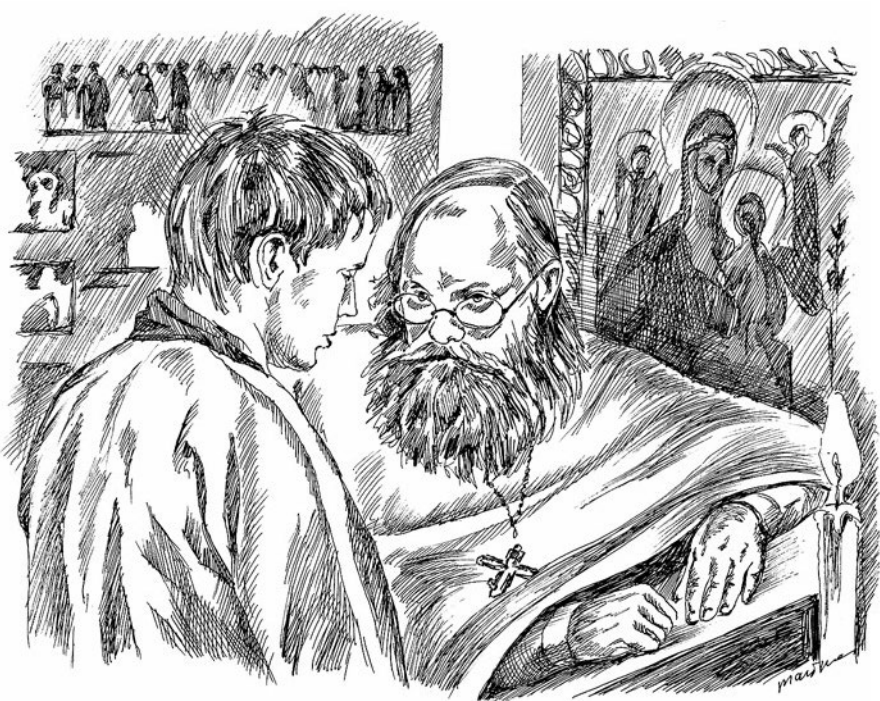
— Господи, прости! —
ужаснулся я тому, что так
долго жил по течению, потеряв
главное.

И потом я выплакал отцу
Димитрию всю боль, все
грехи свои, словно хартию
свою читал, и все, что
было хмельного выпито
мною вместо благодати, и
одного не мог выплакать
и простить себе — страха.
Не страха Божьего, а трусливого
— человеческого! Вырыдал.
И то захлестывало меня
бессмысленной, безумной
отвагой: вот поеду, всех
порублю в капусту; то снова
накатывало — закатают в
асфальт, и кто позаботится
о старушке-матери. И боль за
растерзанную Родину.

— В притчах сказано: «Чего
страшится нечестивый, то и постигнет
его» (Притч. 10:24). Не бояться
надо, а готовиться к испытаниям.
Я вот как-то тоже боялся... Смеяться
будете, летать боялся. А лететь
надо было. Читал в то время книгу
Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь
во Христе». Там и дневники, и мысли
его на каждый день. И перед самым
полетом как раз начал новую главу.
А начиналась она с таких слов: «Не
бойся лишений телесных, бойся
лишений душевных. Не бойся, не
малодушествуй, не раздражайся, когда
тебя лишают денег, пищи, питья,
сладостей, одежды, жилища, даже
самого тела; бойся, когда враг лишает
душу твою веры, упования, любви к
Богу и ближнему, когда он всевает в
твое сердце ненависть, вражду,
пристрастие к земным вещам, гордость
и прочие грехи. Не убойся от убивающих
тело, души же не могущих убить людей
(Мф. 10:28)». Наизусть с тех пор
помню. И ведь просто все! И знал это!
Но из уст батюшки нашего всероссийского
прозвучало как укрепление! Да и вовремя!
Ведь без Промысла Божьего ни один
волос с нашей головы не упадет! Так
все просто! Надо просто верить в это
всем сердцем, и любой страх отступает!
Я не говорю, что надо на рожон лезть,
но страх плохой советчик, плохой попутчик.
А если смерть даже стоит на пороге,
что проку в страхе? Тут уже о другом
надо думать... Молиться успевать...

— И вы перестали бояться летать?

— Перестал. Теперь и летаю много... Да
и вообще бояться перестал. Все в руках Божьих.



их. У апостола Марка сказано: все
возможно верующему! (Мрк. 9:23)
Больше боюсь умереть не по-христиански.

И как-то легко и спокойно мне
стало, так, словно сам Господь мне
через доброго батюшку Димитрия
сказал: «Я с тобой, сыне». И мне —
блудному сыну — стало не по себе,
вновь — как тому Адаму, что спрятался
после первого греха. «Адам, где ты?»
А куда скроешься-то от наготы своей
духовной?

Я рассказал отцу Димитрию о
студеном болоте. Он немало подивился,
но в ответ мне рассказал о
благодатных местах, где совесть
наиболее возопит человеку. А я
следом поведал, как часто просыпаюсь
по ночам в холодном поту от ужаса
за многие поступки, которые совершил.
И вдруг вспомнил, как на уроке
литературы нам долбили цитату из
Достоевского: «Совесть оживает
ночью, она кричит от боли и
одиночества, она вершит над собой
страшный суд. В кошмаре снов
срываются все и всякие самообманные
маски». Выходит, не зря долбили...

— Чего же теперь ждать в России? —
опечалился я.

Отец Димитрий улыбнулся, словно
не понял моей печали, и ответил:

— Оптинские старцы учили: зло
всегда забегаю вперед, но не одолевало,
разве только где попускал Господь,
и попустит к пользе нашей душевной
и к испытанию христианского терпения.

— Умом понимаю... Сердцем... А
смириться не могу!

— Ну и не надо! Господь и так все уладит. А я вот в России побывать хочу.

— Неужто не были?

— Не был.

— А говорите так хорошо по-русски.

— Помощь Божия и воспитание родительское.

— Так вы не Московского патриархата?

— Русская православная церковь за рубежом...

Но пусть вас это не смущает, вот увидите, на скорбях, о которых вы рассказали, Церковь вновь будет едина. Точно вам говорю.

— Дай Бог... А у меня тетя замуж за фашистского солдата вышла. Он, правда, еще в сорок четвертом по ранению демобилизовался...

— Да тут ведь, как и в России, почти каждую семью Вторая мировая задела. Молчат немцы. В землю смотрят, когда с ними говоришь об этом. Но, боюсь, не всегда так будет. В истории как: если маятник сильно качнули в одну сторону, он качнется и в другую.

— А у нас всех собак на Сталина вешают...

— Если власть себя чувствует нелегитимной, несправедливой, ей обязательно надо «сплестись» на костях предыдущей власти. Но тут они вместе с водой выплеснут ребенка. Начнут со Сталина, а придется пересматривать результаты послевоенного мирового устройства.

— То есть Победы...

— Верно. Самое мерзкое, что делают это те, кто и развязал эту войну. И здесь, и за океаном, и у вас...

— Батюшка, вы позволите, я закурю? А то давно уже хочется...

— Я, конечно, не одобряю, но курите. Это же ваш выбор. В конце концов, я слышал: и Иоанн Шанхайский курил...

— Кто это?

— Думаю, в ближайшее время его прославят в лике святителей. Из того же рода вышел Иоанн Тобольский.

— Так это же наш! Сибирский святой! Он был последним в синодальный период прославлен. В тысяча девятьсот шестнадцатом году!

— Точно! Вот видите, один род двух таких людей дал.

— А Иоанн Шанхайский, он что, в Китае?

— Служил и в Китае, а почил в Америке. В Сиэтле...

— Точно говорят, что земля круглая.

— Господь всем правит, кроме свободной человеческой воли.

Я все же не сдержался, закурил. Вспомнил про деревенскую кликушу бабу Нюру. А ведь права была! И вспомнил, как сейчас печатают в газетах

астрологические прогнозы на каждый день. Ведь и это обещала! Рассказал о ней отцу Димитрию. Он не удивился, а только заметил, что в конце времен много простых людей должны пророчествовать.

— Так мы что — в конце времен живем?

— А вы не чувствуете?

Я прислушался к себе, но объема знаний тогда мне еще не хватало, только смутное предчувствие несправедливости всего происходящего. Так ведь и в семнадцатом году, и во время гражданской войны такое у людей было.

— И что делать? — с тревогой спросил я отца Димитрия.

— Молиться, трудиться и держать ухо востро.

Так и сказал: «держатель ухо востро». Потом пояснил — внимательнее быть ко всему, не пропустить, как под видом какого-нибудь миротворца и лжечудотворца в мир явится Антихрист.

— Горбачев у нас миротворец, — криво ухмыльнулся я.

— Мелковат он. Так, мелкий бес. Он только прислуживать может.

— А я думал, у вас тут его все почитают и уважают.

— Вы не первый, с кем я говорю из бывшего СССР. Уже давно понял, что не Богом он меченый. Но я — один из тысячи. За развалами берлинской стены еще не все и не все увидели, что дальше будет.

— А что будет?

— Здесь? — Батюшка тяжело вздохнул. — Содом и Гоморра. Пресытилась Европа свободами и комфортом. Дальше только разложение. Дешевую рабочую силу найдут в Азии да в Африке, вот вам и орды Гога и Магога.

— А в России? — вскинулся я.

— Я не пророк. Аналитик больше. Думаю, все от народа зависит. Но точно знаю: сейчас у вас опьянеют все от свободы, и многое на этом потеряете.

— Так ведь столько храмов по Руси восстанавливать начали!

Еще тяжелее вздохнул отец Димитрий.

— Так вон, — кивнул он на церковь, где только что служил, — красота какая, а на службе едва два десятка человек бывает... Главное — не стены, главное, чтобы вера, как стена... Только тогда Россия выстоит. И каяться надо. Всему народу каяться надо. Столько безбожия было.

— Благословите, батюшка, ехать в Россию... — сложил я в поклоне руки.

— А страх как же?

— Отступил. Бог не оставит, — уверенно сказал я.

— Бог благословит, — перекрестил священник мою покаянную головушку. — Приезжайте еще, рад буду вас видеть.

— Спаси Господи, батюшка.

* * *

Маме я решил не звонить, а вот тетю обойти здесь не мог. Изольда Крюгер словно ждала этого разговора. Она еще до него погрузилась, заметно осунулась и даже не стала пить свою ежедневную дозу. Сварила мне и себе кофе.

— Я знала, что ты все равно поедешь. Только порадовалась, что не одна. С Хеди-то говорить не о чем. Фильмы обсуждать да пенсию ее.

— Я еще приеду, тетя.

— Боюсь, — вздохнула она, — до следующего твоего приезда могу и не дожить.

— Да что вы такое говорите! Вы выглядите на все сто!

— На все сто грамм! — улыбнулась-подхватила. — Проспиртованная, потому и выгляжу!

— Я вовсе не это хотел сказать.

— Да понимаю...

— Мы с невестой вместе приедем, если не прогоните.

Изольда Крюгер, урожденная Зоя Карпенко, тяжело вздохнула. Так, словно в эту минуту надо было выбирать: быть или не быть. Яркие ее глаза словно погасли. От бравой молодящейся вдовы осталась обычная старушка.

— Знаешь, я ведь всю жизнь одна. Всю. Моя вина, но так тяжело... Да, Фриц делал все, чтобы этого не было. Я все время удивлялась, зачем он меня с Украины тащил, когда тут полно было смазливых фрау. Выходит, любил. Видишь, и фашистам любить надо...

Мне захотелось ей сказать, что при всем при этом они сжигали наши города и деревни так, что стоит задаться вопросом: а знакомы ли им хоть какие-то человеческие чувства? Но... промолчал. Тете и без того было плохо.

Наконец она потянулась за своей дежурной бутылкой.

— Давай, чего уж там...

— Думаете, поможет?

— Нет. Но так все равно легче.

— Родственники его меня не очень-то приняли. А я не лезла. Язык с трудом давался. Все равно ведь деревенщина безграмотная была. Это твоя мать всю жизнь учиться хотела, а я только здесь поняла, что придется. Чтобы душой последней не выглядеть и Фрица не подводить. Он-то с тросточкой ходил после ранения. Солидный... — улыб-

нулась в себя. — До конца жизни хромал. Кость там ему раздробило так, что у нас-то бы вообще ногу оттапали, а их немецкие хирурги ногу ему спасли... И вот, как ни крути, хоть и с Фрицем и с Джоном я была, но все равно одна. Джонни был утешением... А когда его не стало, я пить начала. Если бы не Фриц, сгорела бы. А теперь вот живу в пустоту.

— Зачем так говорить?

— Поймешь когда-нибудь... У всякого такое может быть.

«Да честно говоря, у меня уже такое есть, — задумался я, — когда вдруг я стал не нужен своей стране. Со всеми своими знаниями, прочитанными книгами. Впереди оказались какие-то хапуги, моральные уроды, аферисты и спекулянты со своим ущербным мировоззрением».

— Тут важно другое, важно, нужна ли тебе и таким, как ты, страна, — философски заключила тетя. — Представь себе, если б немцы после войны руки опустили? Поводов у них не меньше было. А они, как муравьи, работали. Каждый на своем месте. И не роптали. Конечно, у них каждый на себя работал, но все вместе они все равно на страну работали. Кстати, в ГДР также. Там ведь медицина, образование, как и у вас, бесплатными были. Продукты копейки стоили. За жилье они почти не платили. Свои преимущества. Есть у немцев чему поучиться.

— Не надо было им к нам лезть...

— Не надо было, об этом и Фриц до конца жизни говорил.

— Не надо было Гитлера канцлером выбирать.

— Ты что? — вскинула брови тетя. — Такой наивный? Ты думаешь, если б не было сил, которые за ним стояли, он бы смог занять хоть какое-то место в политике? Они ж хотели его руками вашу Совдепию прикончить. Да вот у него тоже свои соображения имелись. Мне приходилось слышать, как местные ветераны говорят между собой, что с русскими не воевать, а объединяться надо было. Мол, не было бы сильнее армии.

— Упаси Бог, с фашистами объединяться...

— Ну вот ты мне скажи, можно ли на тебя вешать вину за тех, кто сейчас в Кремле вашем хозяйничает?

— Н-ну...

— Вот и немцев нельзя всех фашистами считать. Я за эти годы очень разных видела.

Я в очередной раз удивился ее рассуждениям. Видимо, так и осталась она между двух миров. Точнее — мировых систем. Она между тем махнула рукой на политику и снова спросила:

— Поедешь?

— Поеду...

— И правильно сделаешь. Только не лезь на рожон.

— Отец Димитрий то же самое сказал.

— Хороший он человек.

— Да.

— А ко мне точно приедешь?

— Точно.

— Я визу-то гостевую тебе снова сделаю...

— Спасибо.

— И вот что, Сергей, возьми денег. Я много не дам, но тебе все равно нужны будут. Возьми, будь ласка.

— Спасибо. Я потом верну.

— А зачем они мне? На шнапс мне всегда хватит и на свечку в храме. И на похороны свои. — Улыбнулась печально. — А хотелось бы перед смертью на родную землю взглянуть...

— Так поедете!

— В какую страну теперь ехать? В Украину или в Россию? Да и боюсь я.

— Чего?

— Сердце не выдержит. Думаешь, я такая боевая старуха? Не-е... ой-хо-хо... Уже давно капут. От времени, как и от взора Божьего, никуда не денешься. Тут у меня место рядом с Фрицем и Джонни. Как раз — между. Тут и лягу. Хеди при-

смотрит. Ты-то хоть за меня свечу в церкви поставишь?

— Да о чем вы?!

— О смерти, милый, о смерти. О том, о чем каждый день помнить надо. Только полный дурак думает, что завтрашний день обязательно начнется. Только полный дурак думает, что если вокруг умирают и гибнут, то это всегда где-то в стороне, а не с ним. А уж в моем возрасте — и подавно. Вот только так и не знаю, как грех свой за предательство свое исповедовать. И отец Димитрий не знает.

Я опустил глаза: я тоже не знал. Но благодаря ей, благодаря нашим беседам я смог взглянуть на войну и с другой стороны. Но... остался на своей. С двумя дядьями, что оставили свои автографы на стенах Рейхстага. Это было в крови, в душе, в сердце, это была боль, которая теперь передавалась по наследству. Слезы, что подступали к моим глазам на братских могилах, это были слезы всех вдов, матерей, что не успели они выплакать, пока спасали и восстанавливали разрушенную страну. И простить я не имел права, потому что для этого надо было поднять из земли, из расстрельных оврагов, поднять с Пискаревского кладбища, вернуть из пепла сожженных деревень двадцать семь миллионов человек и — спросить их. Такое под силу только Богу.

Продолжение следует.